



Н. А. ГРЕДЕСКУЛ

Перелом русской интеллигенции и его действительный смысл

In majore minus¹.

Что русская интеллигенция переживает теперь серьезный кризис, серьезный перелом в своем духовном содержании; что она на пути от своего «старого», ей привычного, примерно столетнего (от Новикова и Радищева до наших дней) бытия к бытию «новому», теперь только начинающемуся, — в этом едва ли кто-нибудь может в настоящее время сомневаться. «Кризис», или «перелом», интеллигенции есть факт почти что наглядный, почти что осязаемый, во всяком случае, дающий о себе знать тысячами самых разнообразных симптомов. Его незачем «доказывать», его можно «констатировать» как нечто очевидное для всех. «Перелом» или, во всяком случае, какая-то большая «перемена» в интеллигенции непосредственно чувствуется всеми как в самих себе, так и в других. Мы все — «не те», что были раньше. Мы все — *иначе* чувствуем, *иначе* мыслим, на *иное* надеемся, *иного* опасаемся, чем это было прежде. Словом, сознание происходящей в нас теперь большой общественной перемены, можно сказать, внутреннее, почти что органическое, подобное тому, какое бывает у отдельного человека при переходе из одного возраста в другой.

Но если это так, если факт самого «перелома» интеллигенции не подлежит никакому сомнению, если он для всех очевиден, то тем важнее становится дать себе отчет в том, в чем же, собственно, заключается этот перелом: от чего «старого» и к чему «новому» мы, в лице русской интеллигенции, переходим? В силу каких причин это происходит? В чем, наконец, заключается исторический смысл происходящего перелома?

Только в связи со всем этим может получить свою цену и самое констатирование факта кризиса, или перелома, в интел-

лигенции. Констатировать факт, сделавшийся для всех очевидным, вовсе не трудно. Гораздо труднее его «осмыслить», связать с другими фактами, вставить в перспективу событий, понять как следствие предшествующих причин и как причину будущих последствий. Тот, кто делает это неправильно, может цену самого констатирования им факта из положительной превратить в отрицательную.

Можно так «осмыслить» факт, что лучше бы его и не «констатировать» или предоставить это другим. Плохо или неправильно осмысленный факт есть не истина, а заблуждение, хотя бы он сам по себе как таковой и не подлежал никакому сомнению. Нельзя отделить факта от его «осмысления», раз последнее дано, а в особенности если оно еще подчеркнуто и выдвинуто на первый план. Тут уж приходится ценить все по совокупности и, отвергая заслугу «осмысления», вместе с тем низводить к нулю и заслугу «констатирования» данного факта.

Мы говорим все это потому, что не так давно факт «кризиса», переживаемого теперь интеллигенцией, с большим шумом был «провозглашен» пред русской публикой сборником «Вехи». Авторы «Вех» дали при этом и свое осмысление этому факту, но такое, что самая их заслуга в констатировании этого факта, если уж ее за ними надо непременно признавать*, едва

* Указания на факт совершающегося с интеллигенцией «перелома» делались, несомненно, и помимо «Вех». В частности, пишущий эти строки говорил об этом в статье, появившейся в печати одновременно с первым изданием «Вех» и помещенной во 2-м выпуске известного сборника «Зарницы». Позволю себе привести здесь из этой статьи небольшой отрывок. «Процесс “изменения” русской интеллигенции уже начался, и он неупредимо будет совершаться. Как и все в России, под действием освободительного движения русская интеллигенция не могла остаться исторически неизменной. Наоборот, на ней события должны были отразиться еще больше, чем на ком бы то ни было другом... “Огонь” истории, естественно, должен действовать на нее еще сильнее, чем на какую бы то ни было другую часть народного организма. И этот “огонь” сильнейшим образом воздействовал на нашу интеллигенцию, до того, что он... ее “расплавил” — расплавил вместе с ее привычными идеалами, с ее привычными способами действий, с ее достоинствами и недостатками. Под влиянием высокой температуры пережитых событий русская интеллигенция утратила свои прежние психологические формы, потеряла свою прежнюю твердость и устойчивость. И она так и остается пока в этом бесформенном, “расплавленном” состоянии. Отсюда — эта ее нынешняя душевная “не-мощь”, отсюда — эта ее податливость разным наносным идейным

ли не обесценивается да нуля или даже не превращается в величину отрицательную.

Впрочем, об этом мы будем говорить впереди, а теперь заметим, что за авторами «Вех» имеется и несомненная заслуга перед русской общественной мыслью. Заслуга заключается в том, что они сумели сделать вопрос о «кризисе» русской интеллигенции жгучим, сенсационным. Они привлекли к нему столь широкое и напряженное общественное внимание, что это само по себе составляет благодетельный общественный факт. Общество, и без того склонное в последнее время к «передумыванию» и «продумыванию» основных вопросов своего бытия в связи с богатыми и разнообразными переживаниями недавнего прошлого, тут вдруг нашло как бы фокус для своего внимания. Вопрос об интеллигенции, и именно благодаря сборнику «Вехи», оказался той блестящей точкой, внезапно выделившейся из окружающего хаоса предметов, на которую устремились взоры всех, которая стала почти гипнотически привлекательной для общественного размышления. Общество задумалось над этим вопросом той «крепкой», «настойчивой» думой, которая уже не желает расставаться со своим предметом до тех пор, пока не додумает его до конца. А такое напряженное, глубокое размышление во всяком случае полезно русскому обществу, особенно теперь, после того как оно пережило столько событий, столько опытов, столько теорий и столько разочарований.

Повторяем, эта заслуга останется за авторами «Вех», и хотя, может быть, это и странно, но она находится в связи именно с их «осмыслением» и «объяснением» переживаемого теперь русской интеллигенцией перелома. Именно это «осмысление» и оказалось такого свойства, что оно сразу, внезапным и грубым толчком вывело общественное внимание из его обычного, будничного состояния и заставило его прыгнуть вверх, сосредоточиться на данном вопросе так, как если бы от него зависело разрешение всех других вопросов. Авторы «Вех» дали такое

течениям, отсюда — отсутствие в ней внутренней устойчивости, потеря ею своего духовного “материка”, твердой точки опоры. Но само собой разумеется, что это состояние лишь переходное. Интеллигенции неизбежно предстоит духовно перелиться в новые формы и придать им снова внутреннюю твердость и внутреннюю устойчивость. Из нынешнего расшатанного, разочарованного, неуверенного состояния ей надо перейти в состояние “новой” уверенности и “новой” активности. И, конечно, это неминуемо произойдет...» (Зарницы. № 2. С. 33—34). Статья эта была написана и сдана в печать еще до появления «Вех».

«понимание» и «осмысление» кризиса русской интеллигенции, что это одинаково всколыхнуло оба крыла нашей общественной жизни: и тех, которые стоят направо, и тех, которые стоят налево. Одни с радостью увидели в нем совершенно неожиданную для себя помощь, другие — совершенно неожиданный предательский удар, нанесенный в спину теми, кто стоял все время в своих собственных рядах. Неудивительно, что при таких условиях вокруг «Вех» закипела ожесточенная полемика, а вокруг вопроса об интеллигенции — то напряженное, жгучее размышление, которое создало названному сборнику, как виновнику всего происшествия, совершенно исключительный внешний успех.

Таким образом, «Вехи» *положили начало* весьма напряженному и глубокому общественному размышлению над вопросом о русской интеллигенции, о переживаемом ею теперь кризисе, а вместе с тем и над очень многим другим, что совершалось и совершается в русской жизни.

«Вехи» положили «начало». Но можно ли на «Вехах» и «кончить»?

Вот вопрос, на который, мы в том не сомневаемся, очень и очень многие дадут отрицательный ответ.

Нет, на «Вехах» *кончить* нельзя. То, что они «начали», необходимо «продолжить»; необходимо подвергнуть *критике* и *пересмотру* данное ими «осмысление» событий. По существу, может быть, даже все надо сделать «сначала» в этом вопросе, ибо «Вехи» до последней степени его запутали с умственной стороны и переполнили возбуждением — едва ли вполне здоровым — со стороны эмоциональной.

«Пересмотр» вопроса об «исторической обстановке», в которой совершается перелом русской интеллигенции, и об его внутреннем «смысле» мы и хотим дать в нашем дальнейшем изложении. Мы поведем этот «пересмотр» в связи с мнениями, высказанными по этому поводу «Вехами», так как это представляет большое удобство, когда путь к вопросу уже кем-либо проложен в сознании широкой публики, хотя бы он был проложен и неправильно и хотя бы вся ваша задача заключалась в том, чтобы дать вопросу совсем иное разрешение.

I

Если бы нужно было с наибольшей сжатостью характеризовать основное содержание духовного прошлого нашей интеллигенции, считая это прошлое на протяжении более чем столе-

тия, т. е. со времени Новикова и Радищева и вплоть до наших дней, то это сделать, в сущности, было бы нетрудно. В нем глубоко заложена и вместе с тем выдвинута на первый план единственная мысль — мысль над всем господствующая и все собой покрывающая, мысль, заставляющая все остальные мысли располагаться вокруг себя в определенном порядке, подобно тому как сильный магнит заставляет образоваться вокруг себя определенные фигуры из рассыпанных подле него железных опилок. Эта мысль, ориентирующая и направляющая весь остальной идейный багаж интеллигенции, есть мысль о *народе*, но не о народе как о нации, и тем не менее как о нации, организованной в государство, а о народе — как о социальном члене *внутри* нации или *внутри* государства, о народе как подчиненной массе — в противоположность господствующим классам общества. Поэтому то слово, которое наиболее ярко и наиболее точно может характеризовать наше прошлое интеллигентское мирозерцание, есть слово *народничество*, правда, не в специфическом, а в общем смысле этого слова, т. е. как такое мирозерцание, в котором на первом плане стоит идея о народе в смысле совокупности всех «труждающихся и обремененных»². И нельзя не признать, что это мирозерцание совершенно особенное, коренным образом отличающееся от таких мирозерцаний, в которых на первом плане в качестве идеи, над всем господствующей и все собой организующей, стояла бы какая-либо иная идея, напр<имер>, идея собственного «я» или идея Бога, или идея таких сверхиндивидуальных ценностей, как истина или красота. В мирозерцании русской интеллигенции все эти другие идеи были отодвинуты на второй план, может быть, по временам даже оттиснуты в дальний угол, скомканы, но уж это участь всякого мирозерцания, в котором какая-либо одна идея господствует над всеми другими. Наиболее сильно такого рода «моноидеизм» проявляется, как известно, в религиозном мирозерцании, особенно если оно искренно и очень глубоко.

Однако для того чтобы характеризовать духовное прошлое русской интеллигенции, надо брать его не только со стороны идейной или интеллектуальной, но также и со стороны эмоциональной и волевой. И в этом отношении мирозерцание русской интеллигенции всегда было цельным, глубоким, органическим, по своему типу почти религиозным. Оно проходило не только через голову интеллигенции, но и через ее сердце, через нервы и мышцы, через все ее чувство и всю ее волю. «Народ» в

миросозерцании русской интеллигенции — это не была только идея — оторванная и бессильная, голая и отвлеченная, нет, это была идея, вросшая в организм и сросшаяся с организмом, составившая одно крепкое целое с чувством и волей. Это была идея живая и действенная, радующаяся и страдающая, любящая и ненавидящая, стремящаяся и неустанная. Поэтому тот, кто хочет правильно представлять себе русское интеллигентское миросозерцание, должен сказать, что оно было не только *одномыслью*, но и *однострастью*, *одножеланием*, *одностраданием*. Это было не только народничество, но и *народолюбие*, может быть, даже вправду *народопоклонство*. «Народ» не был для русской интеллигенции только объектом размышлений, но он был для нее в то же время источником радости и страданий, предметом любви и страстного желания. И такое тесное сочленение чувства и воли с одной идеей, по крайней мере в качестве явления длительного, тоже, конечно, оттесняет на второй план, тоже отодвигает в задний угол и комкает многие другие, очень почтенные и законные направления чувства и воли, тоже придает как будто не совсем нормальный вид способной к богатому развертыванию жизни человеческого чувства и человеческой воли. Во всяком случае, на такой почве получается духовный облик несколько односторонний, перенасыщенный одними элементами и обедненный другими. Здесь оказывается некоторая магическая черта, за которую не переходит жизнь духа; создается какая-то клетка, внутри которой бьется чувство и воля. Это, конечно, отзывается неблагоприятно и на самом духе, поставленном в такие условия, это придает ему болезненный, страдальческий оттенок, отнимает у него многие ценности, которыми может быть так «красна» и так прекрасна человеческая жизнь, лишает его многих законных радостей... И вот таков именно и был наш русский интеллигент, возьмем ли мы его в лице Радищева, впервые заговорившего о страданиях и обидах крепостного народа, или в лице Рылеева, или Бестужева, попавших на плаху из-за этого «народа», или, наконец, в лице Белинского, Герцена, Добролюбова, Михайловского и других «вождей» русского интеллигентного общества, всю жизнь свою положивших на идейную защиту прав и интересов того же самого «народа». Таков он в лице своих крупнейших представителей, но таков он и в виде рядовой «интеллигентской» массы — в виде «кающихся дворян» 40-х годов, в виде «разночинцев» 60-х годов, «народников» 70-х и 80-х, марксистов 90-х, наконец, в виде разнородной «интеллигентской»

закваски нашего последнего освободительного движения. Страстно увлеченный своей основной, господствующей идеей, «волнуясь и спеша», терзаясь и терзая других страданиями массы, он ни о чем не хочет думать и ни о чем не хочет слышать, кроме «народа». Все остальные темы, все остальные ценности и интересы для него на втором плане, да и то они допущены лишь на службу основной задаче — освобождению «народа». Что к этому подходит, что к этому призывает или кажется, что призывает, то имеет положительную ценность; что же, наоборот, от этого отвлекает или отклоняет, то не имеет никакой ценности или имеет ценность отрицательную. «Интеллигент» очень чуток ко всем умственным интересам и течениям, он с жадностью бросается на все «новое», «европейское», «научное», но он вместе с тем всюду производит свою «избирательную» работу, он всюду отделяет только то, что, по его мнению, можно и должно поставить на службу своему «народолюбию». Отсюда в области общественных теорий этот его давний наклон в сторону социализма, наклон, сказавшийся уже у Пестеля, вполне определившийся у Герцена и Бакунина, ярко выраженный у Михайловского и Плеханова.

Таким образом, действительно русская «интеллигенция» на протяжении вот уже более чем столетия представляет из себя чрезвычайно типичное социальное образование, со столь определенной и резко выраженной идейной и эмоционально-волевой характеристикой, что, может быть, в самом деле можно усматривать в этом отношении известную разницу между жизнью русского и западноевропейского образованного общества. «Интеллигенция» в смысле «ума» и «понимания» так же, как в смысле «нравственной чуткости», существует, конечно, у всех народов и во все времена. «Интеллигенция» — это всегда и всюду «верхний слой» социального духа, его «сливки», его «цвет». Но в разные эпохи и у разных народов этот «цвет» духа может принимать разные формы, окрашиваться в разные цвета и оттенки. И с этой точки зрения неудивительно, что в России, в известную эпоху ее исторической жизни, «цвет» ее социального духа получил такую определенную и резкую характеристику, что, может быть, и вправду верно ходячее, хотя и не претендующее на научную проверенность мнение, что другие страны не знали и не знают такой интеллигенции, как наша, русская, разумея здесь тот ее вид, какой она имела в течение всего XIX столетия.

II

Какие же исторические условия создали у нас эту «форму» интеллигенции?

Основные исторические процессы в России, конечно, те же, что и в других странах, но они протекают у нас при некоторых своеобразных условиях, а потому и принимают свой особенный характер. Такими своеобразными условиями для нашей родины являются: во-первых, огромная равнинная страна, вся вовлеченная в один общий исторический процесс; во-вторых, огромное население, в основу которого, и притом в качестве его руководящей части, заложена славянская (русская) народность. Эта последняя, в свою очередь, имеет в своей массе такие особенности, которые существенно влияют на ее историю. Она не так упорно и рассудительно активна, как масса германская, в особенности англосаксонская; но она и не так строптиво, я бы даже позволил себе выразиться, бестолково экспансивна, как масса южная, латинская. Мы, русские, несколько пассивны, мы не любим лезть вперед, неохотно берем на себя ответственность и руководящую роль в событиях, но мы хорошо понимаем всю необходимость социального порядка, поэтому мы склонны помогать, а не вставлять палки в колеса тем, кто так или иначе нам его устраивает. Охотнее всего мы повинуемся, но не за страх, а за совесть и по убеждению. Поэтому мы хороший социальный материал, которому, однако, несколько недостает склонности к самостоятельности. Мы не спешим навстречу нужному действию, а мы терпеливо или беспечно ждем, пока оно само на нас надвинется, но зато тогда мы уже действуем дружно и с воодушевлением, не мешая ходу действия ни излишней строптивостью, ни социально вредным желанием непременно учесть его в чью-либо личную пользу. Мы социально доверчивы, но и социально бескорыстны. Вообще же наше духовное одарение, как умственное, так и нравственное, по-видимому, не уступит ничьему другому. Наша мысль сильна, трезва, она в достаточной мере творческая, а наше нравственное чувство развито и чутко. Забота о «душе» и об ее внутреннем «благолепии» — наша типичная русская забота. И это еще один лишний источник, уменьшающий нашу чисто внешнюю, в том числе и социальную активность.

В результате указанных двух причин — огромной страны, вовлеченной в один и тот же исторический процесс, и огромного населения, делающего этот процесс, причем руководящая роль в нем принадлежит народу, обладающему описанными

свойствами и вынужденному при этом устраивать не только свою собственную судьбу, но и судьбу многочисленных других связанных с ним народов, — является то, что темп нашего исторического процесса — замедленный. Мы делаем то же, что и другие народы, но мы *отстаем* от них или, по крайней мере, до сих пор всегда отставали. Но то, что мы делаем, я бы сказал, мы делаем прочно и дружно. Формы нашей жизни поэтому устойчивы, и даже устойчивы, пожалуй, до излишества. К их разрушению или замене мы приступаем только тогда, когда необходимость в этом становится более чем настоящей. До тех же пор наша народная масса доверчиво поддерживает свои исторические учреждения, добросовестно веря в их необходимость и историческую благодетельность.

Итак, формы нашего политического и социального бытия те же, что и у других народов, но мы *запаздываем, отстаем* с их переживанием. Так запоздали мы с отменой крепостного права примерно на полстолетия по сравнению с другими народами; так запоздали мы и с отменой абсолютизма, тоже примерно на полстолетия по сравнению с другими народами. И вот в результате именно этого запаздывания, отставания социальных форм жизни у нас и получилось чрезвычайно своеобразное, и притом крайне тягостное, положение для нашей интеллигенции. Этот «ум» нации — кто бы ни был его представителем: император ли, сидящий на троне, как это было с Александром I, который по своему нравственному складу был типичным интеллигентом, а по убеждениям, по крайней мере первоначальным, был несомненным «конституционалистом» и даже «республиканцем», — или же какой-либо безвестный «кающийся дворянин» или «разночинец», — этот «ум» нации не мог не сознавать, что данная «форма» жизни уже пережита, что она из исторически целесообразной и полезной стала уже вредной, что она задерживает дальнейшее развитие жизни, что поэтому с ней надо бороться и надо ее уничтожить, заменив другой — новой. Сознание всего этого возникало у интеллигенции тем легче и тем неизбежнее, что она воочию видела отживание и отмирание ответственных политических и социальных форм на Западе, видела победоносную борьбу с ними, видела их торжественные похороны, видела, как пышно расцветала новая жизнь, после того как были убраны со сцены обломки старых, пережитых форм... Интеллигенция все это видела, все это понимала, и поэтому ее положение среди страны и народа было поистине сходно с положением греческой Кассандры, которая провидела будущее, но никого не могла убедить в его неизбежном наступ-

лении. Вокруг этой интеллигенции, представлявшей притом лишь небольшую кучку людей среди огромной народной массы, стояла общественная среда, сжившаяся со своей социальной «формой», не замечающая ее противоречия новым потребностям жизни, добросовестно верящая в ее «достоинства» или терпеливо сносящая ее слишком резкие недостатки, — во всяком случае, не желающая выходить из состояния пассивности, чтобы приступить к творческой работе созидания *новых* «форм» жизни. Это создавало вокруг интеллигенции нравственную пустоту, замыкало ее в социальную клетку, заставляло лелеять свои мысли и планы тайком от социальной среды, делать попытки к практическому их осуществлению конспиративно.

Не характерно ли в самом деле, что прообраз всей дальнейшей «интеллигентской» работы этого рода, попытка императора Александра I дать России «новое» бытие соображались и подготавливались им в небольшом «секретном» комитете, с тайными протоколами и с полной конспирацией от всей остальной России?³ Что же удивительного в том, что и деятельность декабристов также отлилась в форму тайного заговора и что работа наших «революционеров» вплоть до освободительного движения оставалась всегда строго конспиративной, и притом вовсе не от одного начальства, но также и от общественной среды?

Основная причина этому — указанное «отставание» общественной среды, ее добросовестная приверженность к существующим формам жизни, когда негодность последних была уже вполне ясна для интеллигенции. Но к этой основной причине, замыкавшей русскую интеллигенцию в клетку и толкавшей ее на путь конспирации, тотчас же присоединялась и другая, а именно давление власти. Дело в том, что интеллигенция не могла, конечно, удержаться от попыток сообщить свои мысли общественной среде, убедить ее в том, в чем она сама была убеждена. Но при первых же попытках этого необходимого и благодетельного воздействия интеллигенции на общественную среду против нее ополчалась власть, опиравшаяся на существующие формы жизни, и тогда начиналось действие «полицейского прессы», с одной стороны, и отчаянная борьба с ним, прежде всего из-за права слова, с другой. Но и в этой борьбе интеллигенция оставалась одинокой, широкая народная масса не понимала того, что эта борьба идет из-за ее же интересов и прежде всего из-за ее политического и социального просвещения.

И нигде это тягостное положение русской интеллигенции — ее трагическое одиночество в сознании социально-должного и

социально-неизбежного, ее отчаянная борьба за право слова и пропаганды этого должного — не сказалось с такой силой и рельефностью, как именно в вопросе об устранении абсолютизма.

Проповедь отмены крепостного права, конечно, нашла бы отклик в народных массах, но она была совершенно невозможна по чисто внешним причинам — потому что власть тотчас прекращала в корне всякую попытку этого рода, тем более что и сама крепостная масса терпеливо ждала своего освобождения от этой именно власти. Но в вопросе об абсолютизме против интеллигенции была не одна только власть, но и народная масса. Несмотря на то, что по существу дела (если не хронологически) отмена у нас абсолютизма запоздала еще более, чем отмена крепостного права; несмотря на то, что сознание необходимости «конституции» зародилось у нас больше 100 лет тому назад, и зародилось на высоте самого трона⁴; несмотря на то, что оно в течение этих ста лет распространялось все шире и шире; несмотря на то, что объективный вред для государства и народа от абсолютизма к концу XIX столетия, как мы это теперь видим воочию, стал колоссальным; несмотря на то, что мы дошли до такого состояния, при котором нас наголову разбили японцы и при котором наша дальнейшая неприкосновенность обеспечивается — увы! — больше всего «соперничеством» между собой других народов, — наша народная масса до самого последнего времени совершенно добросовестно и убежденно стояла за абсолютизм, и «священный клич» (по выражению «Вех»): долой самодержавие! — был невозможен в этой среде вовсе не по одному запрету начальства... Общественная среда, народная масса вплоть до японской войны просто не понимала вреда абсолютизма, не видела надобности в его замене «конституцией». И «интеллигентская» пропаганда этого если и не оставалась, по крайней мере в самые последние годы перед японской войной, «кружковой» в точном смысле этого слова, то все же она не могла стать и всенародной. Самое большее, что она из собственной интеллигенции стала проникать в некоторые слои рабочего класса, в земскую среду, может быть, в часть крупной буржуазии. Но только едва-едва проникать, а вовсе не распространяться. В широком же, всенародном сознании, несомненно, догмат абсолютизма был серьезно поколеблен только жестокими поражениями японской войны и народившимся благодаря этому сознанием, что с нашими традиционными порядками мы очутились в прямой опасности со стороны других народов и что поэтому дело идет не о чем другом, как о самом нашем историческом существовании.

Вот при каких исторических условиях возникла у нас наша традиционная «форма» интеллигенции. Эти условия, если хотите, в известной мере существуют везде. Везде «интеллигенция» исторически «забегает» вперед, везде для нее «старые» формы жизни более тягостны, чем для масс, везде она «предвосхищает» новые формы и борется за их осуществление, оставаясь в этой борьбе не всегда хорошо понятой и нередко одинокой. Но, может быть, нигде все эти неблагоприятные для интеллигенции условия не концентрировались в такой мере, как у нас в России, в течение XIX столетия в нашей борьбе с абсолютизмом. Этот абсолютизм душил прежде всего мысль и слово, т. е. самую «сущность» интеллигенции, и интеллигенция должна была вести отчаянную борьбу за права народа при полном безучастии к этой борьбе самого народа, при полном непонимании им, зачем и почему она ведется. Вспомним здесь, может быть, несколько утрированное, но, в сущности, глубоко правдивое стихотворение в прозе Тургенева «Чернорабочий и Белоручка». Я приведу это стихотворение целиком, ибо оно сразу осветит нам интересующий нас факт ярким светом художественного изображения.

ЧЕРНОРАБОЧИЙ И БЕЛОРУЧКА

Разговор

Чернорабочий. Что ты к нам лезешь? Чего тебе надо? Ты не наш... Ступай прочь!

Белоручка. Я ваш, братцы!

Чернорабочий. Как бы не так: наш! Что выдумал! Посмотри хоть на мои руки. Видишь, какие они грязные? И навозом от них несет, и дегтем, а твои вон руки белые. И чем от них пахнет?

Белоручка (*подавая свои руки*). Понюхай.

Чернорабочий (*понюхав руки*). Что за притча? Словно железом от них отдает.

Белоручка. Железом и есть. Целых шесть лет я на них носил кандалы.

Чернорабочий. А за что же это?

Белоручка. А за то, что я о вашем же добре заботился, хотел освободить вас, серых, темных людей, восставал против притеснителей ваших, бунтовал... Ну, меня и засадили.

Чернорабочий. Засадили? Вольно же тебе было бунтовать!

Два года спустя

Тот же чернорабочий (*другому*). Слышь, Пётра!.. Помнишь, позапрошлым летом один такой белоручка с тобой беседовал?

Другой чернорабочий. Помню... а что?

Первый чернорабочий. Его сегодня, слышь, повесят; такой приказ вышел.

Второй чернорабочий. Все бунтовал?

Первый чернорабочий. Все бунтовал.

Второй чернорабочий. Да... Ну, вот что, брат Митрий: нельзя ли нам той самой веревки раздобыть, на которой его вешать будут? Говорят, ба-альшее счастье от этого в дому бывает!

Первый чернорабочий. Это ты справедливо. Надо попытаться, брат Пётра!

Апрель, 1878

Вот каково было, психологически, соотношение между интеллигенцией и народом! И наша интеллигенция не уклонилась от всей тяжести создавшегося для нее исторического положения. Она целиком взвалила его себе на плечи и, не ропща и не сгибаясь, пронесла эту тяжесть через целую историческую эпоху, вплоть до наступления народного «пробуждения»... Да, что мы говорим: «не ропща» и «не сгибаясь», нет: с энтузиазмом, с поразительным мужеством, с торжеством и ликованием, не перед лицом Цезаря, а перед лицом народа ее всегдашним воодушевленным лозунгом было: *morituri te salutant!*⁵

III

Что же нам — печалиться или радоваться всему этому? Печалиться ли тому, что русская интеллигенция всем своим духовным существом всегда тянулась в сторону «народа» и «народного блага»? Печалиться ли тому, что она так давно выступила на борьбу с абсолютизмом и вела эту борьбу с таким упорством, с каким ее ведут только те, кто решился «победить или умереть»? Ахать ли нам и охать над тем, что вся ее психология и весь ее душевный уклад сложился под влиянием этих фактов и сделался поэтому излишне резким, даже односторонним и болезненным?

Еще недавно все эти вопросы, по крайней мере, друзьям народа, а след<овательно>, и друзьям интеллигенции, показались бы нелепыми и, во всяком случае, совершенно бесполезными. Печалиться ли или радоваться тому, что в России были Радищев, декабристы, Белинский, Герцен, Добролюбов, Михайловский, народники, социал-демократы? Смешно было задавать подобные вопросы, ибо это значило спрашивать: хорошо ли, что в России всегда была сильна любовь к народу, было

страстное желание добиться его освобождения, было живое движение на этой почве социальных и политических идей?

Хорошо ли это было или дурно? В ответ на это еще недавно можно было встретить или улыбку, или недоумение. Самый этот вопрос представился бы смешным или нелепым.

Но не то теперь. Теперь этот вопрос ставится, и иным он кажется не смешным или нелепым а, наоборот, трагическим.

У русской интеллигенции отыскан *пассив*, и пассив такого огромного значения, что он заставляет оставить в стороне или даже совсем забыть ее исторический актив. Интеллигенция, говорят нам, «виновата», и притом такой огромной «виной», что, может быть, теперь уже и последствий этой вины не исправишь. Во всяком случае, надо каяться, надо молиться, надо изгонять из себя «беса»... *

Что же, однако, случилось? Почему такой поворот в отношении к интеллигенции, притом не со стороны ее «врагов», а со стороны ее «друзей»?

Странно и даже дико звучит перед нами ответ на этот вопрос: что произошло, что случилось?

Произошло русское освободительное движение...

Но разве не надо навсегда и навеки радоваться тому, что оно наконец произошло? Разве было бы лучше, если бы и после японской войны русский народ не двинулся с места?

Да, все это так, говорят нам. Но дело-то в том, что русское освободительное движение «не удалось». И вина за эту неудачу всецело падает на русскую интеллигенцию. Если бы не она, то русский народ был бы теперь уже в социальном и политическом раю, а вместо этого он на самом дне ада, и уж неизвестно, можно ли его оттуда как-нибудь вытащить или нет.

Так связывают вопрос об русской интеллигенции с вопросом об русском освободительном движении и этим затягивают его в поистине трагический узел для современного русского общественного сознания. Этим самым спор из прошлого переносится в настоящее и прикрепляется к самому больному месту русской современности. Народолюбия, если угодно, даже народопоклонства интеллигенции, ее экзальтации, ее идейной односторонности и, может быть, даже болезненности никто (повторяем: из числа друзей народа) и ни с какой точки зрения не склонен был бы осуждать, если бы все это было только делом прошлого.

* Даже целый «легион бесов», как думает С. Н. Булгаков. «Легион бесов, — говорит он в «Вехах» (с. 68 1-го изд.), — вошел в гигантское тело России и сотрясает его в конвульсиях, мучит и калечит».

Кому же всерьез пришла бы охота привлекать к ответу за его народолюбие, или за его экзальтацию, или за его односторонности, напр<имер>, «духовного отца русской интеллигенции» — Белинского, нашего «неистового Виссариона»? Это предприятие было бы безнадежным и бесполезным. Но вот вопрос: не повлиял ли этот самый «неистовый Виссарион», уже давно лежащий в гробу, своим «народопоклонством», с одной стороны, и своей «оторванностью» от народа — с другой, своим неосновательным «атеизмом» и своим «наивным» социализмом на исход только что пережитого нами освободительного движения; не он ли это именно и «провалил» его, по крайней мере, если не сам лично, то в лице своих «духовных» детей — современных нам интеллигентов? О, если это только так, то надо тащить к ответу из гроба даже Виссариона, не говоря уже о разных Бакуниных, Чернышевских, Писаревых, Михайловских и иных.

Повторяем: *так* связывают вопрос о русской интеллигенции с вопросом о русском освободительном движении, чтобы составить на этом основании обвинительный акт не только против современных нам максималистов и экспроприаторов, но и против всей русской интеллигенции, вместе с ее духовной родней, со всеми ее «отцами» и «дедами» на протяжении целого столетия. И мы скажем: *да*, вопрос о русской интеллигенции и о ее исторической судьбе надо связать с вопросом о русском освободительном движении, но только совсем по-иному, чем это недавно было сделано «Вехами» и что так глубоко взволновало русское общество. «Освободительное движение» — есть действительно поворотный пункт в жизни и судьбе русской интеллигенции. До него она имела одну «форму» и одно духовное содержание — после него она получит и другую «форму» и другое «содержание»: от «старого» она несомненно перейдет, «переломится» к «новому». Поэтому и в вопросе о «кризисе», или «переломе», русской интеллигенции не только нельзя обойти молчанием освободительного движения, но именно на нем-то и надо больше всего остановиться. Современный «кризис» русской интеллигенции тесно связан с освободительным движением; он им причинно обусловлен. Но для того чтобы правильно понять и раскрыть эту причинную связь, надо прежде всего правильно представлять себе исторический ход и исход русского освободительного движения. А между тем приходится констатировать, что это желательное правильное представление о русском освободительном движении далеко еще не установилось в русском обществе; это только и дает возможность возбу-

дораживать русское общественное мнение такими книгами, как «Вехи», придавая им значение великой политической «сенсации». Мы поэтому остановимся здесь подробнее на этом вопросе о ходе и исходе русского освободительного движения и сделаем это, как уже было сказано, в связи с мнениями, высказанными по этому предмету авторами «Вех».

IV

Относительно хода и исхода русского освободительного движения в «Вехах» пишут: «Россия пережила революцию. Эта революция *не дала того, чего от нее ожидали*. Положительные приобретения освободительного движения все еще остаются, по мнению многих, и по сие время, по меньшей мере, проблематичными» *. «Освободительное движение» не привело к тем результатам, к которым должно было привести, не внесло примирения, обновления, не привело пока к укреплению государственности (хотя и оставило росток для будущего — Государственную Думу) и к подъему народного хозяйства не потому только, что «оно оказалось слишком слабо для борьбы с темными силами истории, нет, оно и потому еще не могло победить, что и само оказалось не на высоте своей задачи, само оно страдало слабостью от внутренних противоречий. Русская революция развила огромную разрушительную энергию, уподобилась гигантскому землетрясению, но ее созидательные силы оказались далеко слабее разрушительных. У многих в душе отложилось это горькое сознание как самый общий итог пережитого» **.

Приведенные цитаты взяты нами из статьи С. Н. Булгакова, потому что он наиболее пространно выражает ими ту мысль о «неудаче» или «крушении» освободительного движения, которую и все остальные авторы «Вех» прямо высказывают или молчаливо подразумевают.

Но по отношению к нашей русской «революции» имеется у авторов «Вех» и другая единодушно разделяемая ими всеми мысль, а именно мысль о том, что эта революция была «интеллигентской». Я и здесь возьму цитату из статьи С. Н. Булгакова, потому что он эту мысль выражает наиболее подробно и наиболее вразумительно.

* Вехи. 1-е изд. С. 23.

** Там же. С. 24.

«Русская революция, — говорит он, — была интеллигентской. Руководящим духовным двигателем ее была наша интеллигенция, со своим мировоззрением, навыками, вкусами, даже социальными замашками. Сами интеллигенты этого, конечно, не признают — на то они и интеллигенты — и будут каждый, в соответствии своему катехизису, называть тот или другой общественный класс в качестве единственного двигателя революции. Не оспаривая того, что без целой совокупности исторических обстоятельств (в ряду которых первое место занимает, конечно, несчастная война) и без наличности весьма серьезных жизненных интересов разных общественных классов и групп не удалось бы их сдвинуть с мест и вовлечь в состояние брожения, мы все-таки настаиваем, что весь идейный багаж, все духовное оборудование вместе с передовыми бойцами, застрельщиками, агитаторами, пропагандистами был дан революции интеллигенцией. Она духовно оформляла инстинктивные стремления масс, зажигала их своим энтузиазмом, словом, была нервами и мозгом гигантского тела революции. В этом смысле революция есть духовное детище интеллигенции, а, следовательно, ее история есть исторический суд над этой интеллигенцией» *.

Другой автор из «Вех» по тому же поводу пишет: «В конечном счете все движение, как по своим целям, так и по своей тактике, было руководимо и определяемо духовными силами интеллигенции — ее верованиями, ее жизненным опытом, ее оценками и вкусами, ее умственным и нравственным укладом» **.

Таким образом, уже в том факте, что «революция» была «духовным детищем» интеллигенции, выдвигается повод для «суда» над ней. Но простым констатированием факта, что революция была «интеллигентской», авторы «Вех» не ограничиваются. Став на эту точку зрения, они немедленно переходят в наступление против интеллигенции — в смысле уже ее прямого обвинения.

Интеллигенция не только делала «революцию», но и делала ее «плохо», — говорит Струве ***. Да и не могла делать «хорошо», подхватывают другие авторы «Вех», потому что она сама никуда не годится. Откуда же это видно? Да из хода той же самой русской революции. И не замечая опасности попасть со

* Вехи. С. 25.

** Там же, статья Франка. С. 147.

*** Там же. С. 141.

всеми своими рассуждениями в форменный *circulus vitiosus*⁶, авторы «Вех» утверждают, что не только русскую революцию надо характеризовать в зависимости от «свойств» русской интеллигенции, но и русскую «интеллигенцию» надо характеризовать «свойствами» русской революции. Тот же С. Н. Булгаков говорит о «духовном самообнаружении интеллигенции во время революции» * и думает, что «революция обнажила, подчеркнула, усилила такие стороны ее духовного облика, которые до нее во всем значении угадывались лишь немногими (и прежде всего Достоевским), она оказалась как бы духовным зеркалом для всей России и особенно для ее интеллигенции **». И если «до революции» еще можно было «смешивать страдающего и преследуемого интеллигента, несущего на плечах героическую борьбу с бюрократическим абсолютизмом, с христианским мучеником» ***, то теперь — прибавим мы уже от себя, но точно продолжая курс, взятый «Вехами» в вопросе об интеллигенции, — «после революции», совершенно ясно, что в этом прежнем «мученике» сидел просто современный «максималист» и «экспроприатор», который и обнаружил наконец свою истинную природу. «Вся слепота и противоречивость интеллигентской веры, — говорит Франк, — была выявлена, когда маленькая, подпольная секта вышла на свет Божий, приобрела множество последователей и на время стала идейно влиятельной и даже реально могущественной ****». «То обстоятельство, что субъективно-чистые, бескорыстные и самоотверженные служители социальной веры оказались не только в партийном соседстве, но и в духовном родстве с грабителями, корыстными убийцами, хулиганами и разнузданными любителями полового разврата, — этот факт все же с логической последовательностью обусловлен самим содержанием интеллигентской веры» *****.

Как видим, понимание хода событий у авторов «Вех» оказывается следующим: русское освободительное движение *по какой-то причине* (они этим вопросом не интересуются и его себе не задают) попало в руки интеллигенции — стало интеллигентским. Но это-то именно его и погубило, ибо интеллигенция (что и предвидели более проницательные люди) оказалась преисполненной нравственной скверны, бессилия и противоречий.

* Там же. С. 57.

** Там же. С. 26.

*** Там же. С. 57.

**** Там же. С. 176.

***** Там же. С. 178.

Значит, кто же «виноват» в создавшемся теперь положении? Вывод ясен: конечно, русская интеллигенция, и только она одна. И авторы «Вех» не устают подчеркивать этот вывод. *Вину* за неудачу освободительного движения они целиком взваливают на плечи интеллигенции, для них все то — необычайное, огромное, сложное, — что произошло у нас в России в 1905—1906 годах и что именуется русским освободительным движением, есть не более как простое «поражение интеллигенции». Это она, интеллигенция, привела общество «в безвыходный тупик» *. Все «современное положение» сводится к тому, что перед нами — «крушение многообещавшего общественного движения, руководимого интеллигентским сознанием» **.

А уже став на эту позицию, «дав волю слов течению», авторы «Вех» не находят конца нравоученью. Они принимают вид настоящих пророков, они призывают нас к покаянию, а если мы не покаемся, то они грозят России всем самым худшим, а самое главное — они разносят, разносят без конца бедную русскую интеллигенцию.

V

Булгаков пишет: «Революция поставила под вопрос самую жизнеспособность русской гражданственности и государственности» ***. Для него «нет заботы более томительной и тревожной, как о том, поднимется ли на высоту своей задачи русская интеллигенция, получит ли Россия столь нужный ей образованный класс с русской душой, просвещенным разумом, твердой волей, ибо в противном случае интеллигенция в союзе с татарщиной, которой еще так много в нашей государственности и общественности погубит Россию» ****. «Как итог всего пережитого, перечувствованного, передуманного относительно интеллигенции», у него «лежит на сердце» мучительная тревога и за интеллигенцию, и за Россию» *****. Но если у Булгакова на сердце «тяжело», если он произносит свой «суровый» (как он сам выражается) суд над интеллигенцией, потому что это «повелевает» ему «чувство ответственности», то с гораздо

* Вехи, предисловие М. Гершензона. С. 1, 2.

** Там же, статья Франка. С. 146.

*** Там же. С. 23.

**** Там же. С. 26.

***** Там же. С. 59.

более «легким» сердцем накидываются на интеллигенцию другие «пророки» из «Вех» — Гершензон, Франк, Изгоев. Они «разносят» интеллигенцию, можно сказать, с особым удовольствием и с настоящим вкусом. «Сонмище больных, изолированное в родной стране, вот что такое русская интеллигенция!» — с почти непонятным по своей экспансивности азартом выкрикивает г. Гершензон тот тезис, доказательство которого составляет, впрочем, общую задачу всех авторов «Вех». «Ни по внутренним своим качествам, ни по внешнему положению она не могла победить деспотизм: ее поражение было предопределено. Что она не могла победить собственными силами, в этом виной не ее малочисленность, а самый характер ее психической силы, которая есть раздвоенность, т. е. бессилие; а народ не мог ее поддержать, несмотря на соблазн общего интереса, потому что в целом бессознательная ненависть к интеллигенции превозмогает в нем всякую корысть... и не будет нам свободы, пока мы не станем душевно здоровыми» *.

Не правда ли, сколько темперамента и решительности в пророческом даре г. Гершензона?

Более спокоен, но зато и более «нравоучителен» г. Франк. «К настоящему положению вещей, — читаем мы у него, — безусловно и всецело применимо утверждение, что всякий народ имеет то правительство, которого он заслуживает». Если в до-революционную эпоху фактическая сила старого порядка еще не давала права признавать его внутреннюю историческую неизбежность, то теперь, когда борьба, на некоторое время захватившая все общество и сделавшая его голос политически решающим, закончилась неудачей защитников новых идей, общество не вправе снимать с себя ответственность за уклад жизни, выросший из этого брожения. Бессилие общества, обнаружившееся в этой политической схватке, есть не случайность и не простое несчастье; с исторической и моральной точки зрения это есть его грех» **.

В порыве «нравоучительного» настроения г. Франк не замечает даже, к какому историческому сумбуру приглашает он нас, уверяя, что до освободительного движения «старый русский порядок не имел внутренней исторической неизбежности», а теперь будто бы он ее вполне получил.

Но все же наиболее великолепен в своем пророческом подъеме г. Изгоев. По его авторитетному мнению, в нашем освободи-

* Там же. С. 87.

** Там же. С. 147.

тельном движении нам не хватило очень простой и элементарной вещи: ума и знаний. «Надо иметь наконец смелость, — говорит он, — сознаться, что в наших Государственных Думах огромное большинство депутатов, за исключением трех-четырех десятков кадетов и октябристов, не обнаружили знаний, с которыми можно было бы приступить к управлению и переустройству России». И настолько, по мнению г. Изгоева, мы были глупы, что «быть может, самый тяжелый удар русской интеллигенции нанесло не поражение освободительного движения, а победа младотурок, которые смогли организовать национальную революцию и победить почти без пролития крови»*.

Вот кто нам показал, как надо *такие* дела делать, — турки. Впрочем, в утешение себе заметим, что это писано было Изгоевым до событий 31 марта, т. е. до того, как «победители» стали вешать своих противников на улицах Константинополя, и до того, как они ввели в стране военное положение, с помощью которого и доныне управляют страной. Все это — увы! — показало, что «эти дела» далеко не так просты, как думал г. Изгоев, когда писал свою статью.

Когда вдумываешься в то, что авторы «Вех» сделали по отношению к русской интеллигенции и в какую связь поставили они ее и ее деятельность с исходом русского освободительного движения, то невольно приходит в голову следующее сравнение.

С великими усилиями, с пламенным энтузиазмом, с богатыми надеждами люди строили себе новый, просторный и светлый дом вместо старого, надоевшего, неудобного, грозящего ежеминутно совсем развалиться. И новый дом казался этим людям уже совсем готовым, в него стали даже частью переходить на жительство. Как вдруг все рухнуло или все сгорело, словом, вместо нового дома осталось одно пустое место! Все в ужасе, в смятении; ищут объяснения, ищут причины происшедшему. И вот как раз в это время в кругу потерпевших появляется группа почтенных людей и в один голос кричат: вот поджигатель!.. Крик падает как раз на психологию окружающих и производит настоящий переполох. Все поворачиваются лицом к закричавшим, все требуют тишины, чтобы их выслушать. И то, что это люди почтенные, независимые, сами заведомо желавшие «нового»; и то, что они провозглашают свой крик с таким непреклонным убеждением и вполне согласно, несмотря на разницу своих прочих убеждений и своих обще-

* Вехи. С. 208, 209.

ственных позиций, все это производит еще большее впечатление. Помилуйте, тут и два философа: Бердяев и Франк, тут и историк нашей общественной мысли — Гершензон, тут и два юриста — политикоэконом и государственный — Булгаков и Кистяковский, тут и заслуженный политический деятель Струве, тут, наконец, и профессиональный публицист на чисто позитивной, чуть не социал-демократической подкладке — Изгоев! Они с разных сторон исследуют предмет, частью расходятся в своих других показаниях *, но все согласно и в одно слово говорят: вот погубитель общего дела, вот разрушитель всех надежд — это русская интеллигенция!

Таким образом, *политическая* заслуга авторов «Вех» перед русским обществом в настоящий момент, если только ее надо признавать (а это иные считают и необходимым, и справедливым), заключается в том, что они, в лице русской интеллигенции, поймали «вора» — «государственного» вора, как надо выразиться по терминологии Струве. И они не только его поймали, но и сотворили над ним тут же свой «суровый», по выражению Булгакова, суд.

VI

Можно ли признать этот суд справедливым, окончательным, не требующим пересмотра? Мы разумеем это, конечно, по отношению к самому его приговору: интеллигенция «виновна» в том, что «погубила» освободительное движение, а если не исправится, то «погубит» и Россию. «Мотивы» этого приговора у авторов «Вех» многочисленны и разнообразны; в них содержится немало такого, что само по себе вполне верно и справедливо. Но мы спрашиваем — правосуден ли самый приговор, или, может быть, он содержит в себе вопиющую несправедливость, потому что авторы «Вех», вопреки своему глубокому смыслу, критически не проверили самых важных своих исходных посылок?

Мы думаем именно последнее, а потому и обратимся всецело к этим исходным посылкам, тем более что они суть вместе с тем предпосылки и для решения вопроса о том «кризисе», или «переломе», который переживает теперь русская интеллиген-

* Как уже не раз указывалось в печати, статьи «Вех» полны взаимных противоречий и притом по самым крупным и важным для их общей темы вопросам.

ция. Таковыми мы считаем: во-первых, утверждение авторов «Вех», что русская «революция» была интеллигентской, и, во-вторых, утверждение, что русская «революция», так «много обещавшая», на самом деле ничего нам «не дала», что она просто «не удалась», «поставив под вопрос самую жизнеспособность русской гражданственности и государственности».

На каком основании авторы «Вех» считают русскую «революцию» интеллигентской, т. е. «сделанной» интеллигенцией, а не народом? Они нам этих оснований, можно сказать, совсем не указывают. Как мы видели выше, Франк утверждает, что «все движение» «как по своим целям, так и по своей тактике» «было определяемо» *в конечном счете* духовными силами интеллигенции, но он нам самого этого «счета» не приводит. Как он «считал», мы этого не знаем и не видим. Вернее, что он вовсе «не считал», что он утверждает свое положение вполне голословно, ибо совершенно непонятно, как мог он «вычесть» в своем «счете» из общего итога участие в «революции» народа: рабочих и крестьянских масс, солдат, матросов и пр.

Несколько яснее, но зато и гораздо сомнительнее стоит дело с этим «счетом» у Булгакова. Я уже приводил выше из его статьи длинную цитату, сюда относящуюся. Если мы внимательнее в эту цитату, то мы увидим, что она говорит не в пользу тезиса об «интеллигентской» революции, а прямо против него. В самом деле, он решается назвать интеллигенцию «духовным *двигателем*» революции и тут же сам прибавляет, что без «несчастной японской войны» и без «наличности весьма *серьезных* жизненных интересов разных общественных классов и групп» «*не удалось бы их сдвинуть с мест* (курсив наш. — Н. Г.) и вовлечь в состояние брожения». Какой же это «двигатель», который сам по себе не мог бы «сдвинуть» с места? Значит, «сдвинуло» что-то другое, и это так и есть, и что сдвинуло — это правильно указывает сам Булгаков: несчастная война и серьезные жизненные интересы разных общественных классов и групп. Только вместо последнего не грех было бы прямо сказать: серьезные жизненные интересы «народа», которые этот народ благодаря несчастной войне увидел в прямой опасности. Малоубедительно и то, что говорит дальше Булгаков в своей цитате, а именно, что «весь идейный багаж, все духовное оборудование вместе с передовыми бойцами, застрельщиками, агитаторами, пропагандистами был дан революции интеллигенцией». Это частью просто неверно, а поскольку это верно, ведь это же только *поверхность*, а не глубина. Из того, что народ интеллектуально и идейно неповоротлив, а часто

даже беспомощен; из того, что ему вследствие этого в его крупных социальных и политических движениях всегда требуются помощники и руководители — все эти застрельщики, агитаторы, пропагандисты; из того, что эти помощники и руководители могут быть неудачными или своевольными и получают фактическую возможность наклеивать на поверхность народного движения свои плакаты и ярлыки, — из этого вовсе не вытекает, что народное движение вследствие этого *перестает быть народным* и становится чисто интеллигентским*. Ведь не отрицает же Булгаков, да и не может решиться отрицать того, что «народ», в смысле самой широкой, «обывательской» массы, «участвовал» в революции, а не оставался немым и безучастным зрителем «интеллигентских» стараний ее произвести, как это было в течение целых десятков лет до 1904—1905 годов. По крайней мере, товарищ г. Булгакова П. Б. Струве прямо говорит, что «народные массы» «вложились» в русскую революцию, и даже прибавляет, чем они вложились: «своими социальными страданиями и стихийно выраставшими из них социальными требованиями, своими инстинктами, аппетитами

* Может быть, здесь будет уместно вспомнить один курьезный случай, который имел место в «революционную» эпоху и который своевременно был опубликован в газетах. В самый разгар устройства «митингов», как известно, к публичному обсуждению политических и социальных вопросов мобилизовалась не только городская, но и деревенская Русь. Многолюднейшие собрания прямо под открытым небом происходили не только в городах, но и в селах. Но для всякого собрания нужны «ораторы», которые в селе далеко не всегда под рукой. Тогда приходилось обращаться в город, в разные «комитеты», чтобы они командировали кого-либо из числа тех, кто имеется в их распоряжении по этой части. И вот на почве такой «жажды» собраний и «нужды» в «ораторах» один малороссийский сельский сход адресовал «городу» такую просьбу: «Пришлите нам студента, або якого-нибудь жидка». Конечно, «студент» или «жидок» охотно был командирован, «ораторствовал» перед крестьянским собранием, наверное, пользовался большим успехом и даже, может быть, подбил этот сельский сход принять какую-нибудь эсеровскую или эсдековскую резолюцию. И что же, Булгаков скажет, что в таком селе была «студенческая» или «жидовская» революция? Нет, уж подобные выводы надо оставить старому режиму, который всегда говорил, что вся суть в «агитаторах, подстрекателях, студентах, жидах» и т. п. И если это было далеко не вполне верно даже по отношению к эпохе до освободительного движения, то по отношению к самому освободительному движению это чудовищно нелепо.

и ненавистями» *. Мы бы и здесь добавили, что не разрывать связи нашей «революции» с несчастной войной — связи, уже признанной Булгаковым, — что народные массы «вложились» в «революцию» также и своим, пускай «стихийным», «инстинктивным»: это тоже неплохо — *опасением* за судьбу тысячелетнего Русского государства. Но они, как видите, «вложились» в эту революцию, они *в ней «участвовали»*, и только слепой мог бы этого не видеть.

И это была именно «стихия», это была самая глубокая «инстинктивная» глубина народа, это было, как выражается сам же Булгаков, «гигантское землетрясение» **. Тем не менее по отношению к этому взрыву народной «стихии», по отношению к этому всенародному «землетрясению» решаются говорить, что это было не более как «интеллигентское» движение. Все-де в нем было интеллигентским: и «мировоззрение», и «навыки», и «вкусы», и «замашки». Ну а куда же при этом прячете вы «стихию», «инстинкт», «землетрясение»? Ведь весь исторический смысл «движения» в том, что оно «захватило» именно народные массы, с их «стихийным» нутром и с их разбуженными наконец политическими и социальными «инстинктами». И что они хотят сказать этим своим утверждением, что «в конечном счете» революция оказалась «интеллигентской»? Хотят ли они убедить нас в том, что интеллигенция «управляла» ходом и исходом революции или что она без остатка заменила инстинктивные, стихийные требования народных масс своими «умственными» формулами? Но *кто же и когда* мог «управлять» стихиями? Кто приводил в движение колеса своих мельниц водами потоков и наводнений, а тем более потоками расплавленной лавы при «гигантских землетрясениях»? Или *кто* мог когда-нибудь вложить в «инстинкт» чуждое ему, только одним умом изобретенное содержание? Подумайте, господа, что вы утверждаете! Нет, гораздо правильнее то, ставшее уже избыточным представлением о русском освободительном движении, которое уподобляет его колоссальной народной *волне*, на поверхности которой неслась русская интеллигенция — неслась в значительной мере беспомощно. И вы сами, г. Булгаков, говорите о «волне», только называете ее волной «общественной истории». Напрасно. Это совсем не сходится с вашим предыдущим выражением о «гигантском землетрясении».

* Вехи. С. 140—141.

** Там же. С. 24.

Спросим, наконец, чтобы покончить с этим вопросом об «интеллигентском» характере революции, — что на что больше повлияло: «стихийное» ли народное движение на «партии» с их «программами» или, наоборот, «партии» и «программы» на народное движение? По этому поводу я сошлюсь на одно любопытное замечание одного из авторов «Вех», г. Бердяева. В своей статье он, между прочим, говорит, что у нас даже марксизм подвергся «народническому перерождению»*. И ведь это глубоко верно. Марксизм действительно подвергся этому перерождению, и притом как в отношении программном (вспомним метаморфозы «аграрной» программы у русской социал-демократии в течение освободительного движения⁷, так и в отношении тактическом (большевизм с его чисто эсеровским «революционизмом»). А ведь, кажется, уж социал-демократическая программа — одна из самых твердокаменных. Тем не менее стихийные условия широкого народного движения пошатнули и ее. Интеллигенция подходила, конечно, к движению и со своими готовыми программами, но, во-первых, лишь постольку, поскольку они у нее были, а во-вторых, она вынуждена была при этом чутко прислушиваться к «стихийным» и «инстинктивным» требованиям народа. И едва ли не справедливее будет сказать, что она свои главные и основные усилия направляла не на то, чтобы навязать свои программы народу, а на то, чтобы правильно уловить и правильно формулировать в них эти «инстинктивные» и «стихийные» требования народа.

Как неосновательно или, во всяком случае, бесконечно условно обозначение нашего освободительного движения со стороны авторов «Вех» *интеллигентским*, это косвенно, но ярко сказалось в том, что один из них характеризовал как «интеллигентскую» даже Великую французскую революцию. Ну, если уж и Великая французская революция была *интеллигентской* — значит, *народных* революций совсем не бывает, или, во всяком случае, всякое хотя бы и всенародное движение, но раз оно вышло из стадии простого бунта черни, раз в нем замешался «интеллигент», — перестает быть народным и превращается в интеллигентское. Ничего не значит, что весь французский народ отстаивал грудью *свою* революцию против целой соединенной Европы. Но раз в эту революцию замешался Робеспьер или Марат, раз в ней орудовали якобинцы и иные тогдашние «интеллигенты», то уж она, *нет* — не народная, а интеллигентская. И если уж Великую французскую революцию

* Там же. С. 13.

считают «интеллигентской» — ну, тогда спорить не о чем: тогда, конечно, вполне понятно, почему и русское освободительное движение тоже считали *чисто* «интеллигентским».

Нет, русское освободительное движение в такой мере было «народным» и даже «всенародным», что большего в этом отношении и желать не приходится. Оно «проникло» всюду, до последней крестьянской избы, и оно «захватило» всех, решительно всех в России — все его пережили, каждый по-своему, но все с огромной силой. Оно действительно прошло «ураганом» или, если угодно, «землетрясением» через весь народный организм России. Наше освободительное движение есть поэтому не что иное, как колоссальная реакция *всего* народного организма на создавшееся для России труднейшее и опаснейшее историческое положение. Если кто здесь в чем-нибудь «виноват» и за что-нибудь «ответствен», то это весь народ в целом, а не какая-либо отдельная его часть, хотя бы то была и интеллигенция. Взваливать всю «вину» за ход и исход освободительного движения в России на одну интеллигенцию — это значит просто не уметь отличать *части от целого*.

VII

Но так ли уж правы авторы «Вех» и в другом своем утверждении, что на русском освободительном движении лежит печать только одной «вины» и «неудачи», а не «заслуги» и «успеха»; что над ним поэтому надо слезы проливать, а перед его результатами для будущего — только приходить в «отчаяние» и призывать к «покаянию»?

Пессимизм и уныние теперь, вообще, в моде и весьма распространены в русском обществе, а мнение о «неудаче» освободительного движения, можно сказать, *ходячее*. Авторы «Вех» не сами его выдумали, а всецело взяли его из общественной среды или, сказать вернее, просто подчинились ему и своим настроением, и своей мыслью — подчинились без всякой критики. А между тем она здесь нам нужнее, чем в чем бы то ни было другом. И в особенности странно, что от нее отказались те, кто взял на себя роль стать и над интеллигенцией, и над народом, чтобы указывать им пути их дальнейшей жизни. И не столько в интересах полемики с «Вехами», сколько в интересах нашего общественного самосознания, мы считаем настоятельно необходимым подвергнуть здесь трезвой, широкой, свободной от «чувствований» момента критике именно это хо-

дичее и всецело разделяемое авторами «Вех» убеждение о «неудаче» освободительного движения.

Что значит — «удача» или «неудача» революции? Когда надо считать «революцию» удавшейся, а когда, наоборот, неудавшейся? Удалась ли, напр<имер>, Великая французская революция или не удалась? Удались ли в разных государствах Европы «революции» 48-го года или не удались? Вы видите, что, стоит только поставить этот вопрос об «удачах» и «неудачах» революций широко и объективно, как он оказывается далеко не столь простым, чтобы отвечать на него сплеча или под влиянием впечатлений минуты. Совершенно очевидно, что, прежде чем отвечать на него, надо сперва условиться, какой *смысл* вкладывать здесь в слова «удача» или «неудача». Ведь при *одном* смысле — все революции придется считать неудавшимися, при *другом*, едва ли не наоборот, все революции, т. е. настоящие, глубокие народные движения, окажутся вполне удавшимися. С точки зрения тех субъективных ожиданий или надежд, с которыми революции начинаются, — они никогда не удаются; наоборот, с точки зрения известных объективных результатов для народной жизни в смысле вносимых ими глубоких политических и социальных перемен — они всегда удаются. В ожиданиях и надеждах, окружающих всякое начинающееся крупное народное движение, всегда и неизбежно бывает много преувеличений и даже просто маниловщины. Ожидают всегда несравненно большее, чем объективно может осуществиться, да и того, что может осуществиться и действительно осуществится, ожидают по-маниловски — без трудностей и без огорчений. Вполне понятно, что революции никогда не дают ни *все-го* того, что ожидали, ни так *безмятежно*, как этого ожидали.

Но зато, с другой стороны, никакая настоящая революция, т. е. революция, оплодотворенная могучим участием в ней самого народа, никогда не остается бесплодной. Она всегда дает объективные и благодетельные для народной жизни результаты сперва в виде зачатков новой жизни, зачатков хилых, беспомощных и безобразных, но вырастающих потом в нечто новое, прекрасное и сильное. Поэтому и «удача» всякой революции усматривается не так легко. Для этого надо или выждать, пока вырастет, окрепнет и расцветет *новая жизнь*, или уметь видеть уже в самом ее неприглядном и хилом начале ее будущий расцвет и ее будущую силу. И с этой точки зрения, конечно, вполне удалась и Великая французская революция, и все революции 48-го года. И когда мы это говорим — и говорим с полным убеждением, — нас несколько не смущает то, что вслед за каж-

дой из этих революций наступала «реакция», реакция, тянувшаяся многие годы и приводившая в отчаяние своих современников. Мы знаем уже по опыту, что «реакциям», несмотря на все их усилия, никогда не удавалось истребить «ростков» новой жизни, порожденных «революциями», и эти ростки всегда благополучно доживали до своего расцвета, по крайней мере у народов жизнеспособных, а не обреченных на историческую смерть. Но ведь у таких народов и «революций» — настоящих революций, а не простых бунтов или заговоров — не бывает. Мы отлично знаем, что всякая «революция» есть именно симптом и доказательство жизнеспособности народа, т. е. способности его «преодолеть» старые формы жизни и перейти к новым.

Да, мы все это отлично знаем, но только не хотим знать в настоящую минуту...

С какой же точки зрения авторы «Вех» провозглашают полную «неудачу», полное «крушение» русского освободительного движения? О, только с одной, и притом типичной точки зрения «ожиданий». Вы помните, как Булгаков говорил: «Эта революция не дала того, *чего от нее ожидали*». «Освободительное движение, — продолжает он, — не привело к тем результатам, к которым *должно было привести...*» Да, конечно, русское освободительное движение не дало ни *всего* того, чего от него с разных сторон *ожидали*, ни всего того, что, по мнению разных лиц, оно *должно было* дать. Но для оценки его «неудачи» с этой стороны, во всяком случае, необходимо спросить, чего же от него ожидали и *что* оно должно было дать? *Чего*, например, от него ожидали авторы «Вех» и *что* оно, по их мнению, *должно было* дать и не дало? А вот чего: оно «не внесло примирения, обновления, не привело “пока” к укреплению государственности и к подъему народного хозяйства». Наряду с этим Булгаков, как мы уже видели, жалуется также и на то, что «русская революция развила огромную разрушительную энергию, но ее созидательные силы оказались далеко слабее разрушительных». Вдумайтесь в приведенные слова и скажите — разве в них не содержится по крайней мере 50 процентов чистейшей маниловщины по отношению к великим историческим событиям? Революция не внесла «примирения»... Но какая же революция «вносит» примирение? Она всегда вскрывает старый раздор, выводит его наружу, она есть хирургический нож, срезающий старую язву и причиняющий острую и резкую боль. По этой же причине она прежде всего «разрушительна» — и в этом ее великое «благо». Обсуждать какую-либо революцию иначе, настаивать на том, что ей следовало бы быть «паинькой», не

драться и не ругаться, а главное, ничего не бить и не ломать, а только «созидать» — это и значит уподобляться Манилову. Но, скажут нам, Булгаков ведь говорит и об «обновлении», и об «укреплении государственности», и о «подъеме народного хозяйства». В этом ведь и есть настоящая, подлинная задача революции. Если революция не даст «обновления», не «укрепит государственности», не «поднимет народного хозяйства», то к чему же она была и что она в таком случае даст? Признаем резонность этого замечания, но в свою очередь спрашиваем: а *когда* вы всего этого ожидаете? — «на другой день» после революции, в виде приятного с ее стороны сюрприза, или также путем созидания и борьбы? Все это революция *должна* дать, но только, конечно, не на «другой же день». Кстати заметим, что сам Булгаков настолько добросовестный мыслитель и хороший общественный наблюдатель, что он не может не констатировать того, что революция и *созидала*, но только *менее* созидала, чем разрушала, как не отрицает он и того, что она оставила «росток для будущего — Государственную Думу». Вместе с тем он также благоразумно оговаривается, что революция «пока» не дала нам ни «укрепления государственности», ни «подъема народного хозяйства». Но если все это так, то чего же он сам и его коллеги хотели бы: чтобы революция только «созидала», а не «разрушала» и чтобы она дала не «росток», а сразу целый дуб в виде, скажем, «парламента» на манер английского — с ответственным министерством? Ну что же? Как иногда говорят детям: хотеть не запрещается. Недурно было бы также, чтобы после «революций» никогда не бывало еще и «реакций». Но вот даже Струве говорит, что «обычно после революции и ее победы торжествует реакция в той или иной форме» *. Значит, «ожидания» и «хотения» здесь решительно ни при чем. Мало ли чего кто «хочет» или «ожидает» — в ходе глубоких народных движений есть своя закономерность, которой приходится просто подчиняться. Эти движения — стихийны, инстинктивны, эмоциональны. Нельзя требовать или ожидать, чтобы они шли, как по рельсам, или по чьей-нибудь указке, — они всегда идут обвалом или разливом. Они всегда дают огромный всплеск налево, производят здесь большую или меньшую разрушительную работу (и русская революция в этом отношении вовсе не была такой уж разрушительной), наталкиваются, наконец, на неразрушимые социальные породы и тогда отскакивают от них вправо с силой, пропорциональной натиску налево. И только

* Вехи. С. 127.

уже после этого народное движение входит в берега и прокладывает себе нормальное русло, по которому и начинает спокойно и уверенно течь обновленная народная жизнь.

Итак, точка зрения, с которой авторы «Вех» констатируют «неудачу русской революции», есть типичная точка зрения «ожиданий». О ней приходится сказать, что для оценки «удачи» или «неудачи» революций она просто не годится как слишком субъективная и слишком окрашенная «чувствованиями» момента. Это — точка зрения «не критическая». И тот, кто хочет дать себе трезвый отчет в событиях, кто хочет стряхнуть с себя гипноз «уныния» и «отчаяния», кто хочет вернуть себе «остроту» размышления и «гибкость» действия, тот должен просто от нее отрешиться. Все, что угодно, только не то, чего «ожидали» и что «должно было быть» по разным прогнозам и диагнозам! Это было хорошо в свое время, когда мы стояли перед загадочным будущим, когда это рождало благодетельную веру и энтузиазм, когда это воодушевляло, но это совершенно не годится теперь, когда это приводит в уныние и оцепенение.

Нет, для объективного суждения об удаче или неудаче русского освободительного движения нужно стать на другую точку зрения — на точку зрения объективных *результатов* или *последствий* революции. *Даст ли* нам русское освободительное движение, хотя бы и через известное время (как это было и у всех других народов), то «обновление» всей нашей исторической жизни, то «укрепление русской государственности», тот «подъем народного хозяйства», о которых говорит Булгаков и которые, конечно, необходимы *России* так же, как свет и воздух всякому живому существу? Даст или не даст?

Признаться, имея дело с авторами «Вех», мы стоим в большом затруднении перед этим вопросом. Если мы скажем утвердительно: *даст* — русское освободительное движение даст России то же самое, что дали государствам Западной Европы их «великие» революции, т. е. и «обновление» всей жизни, и «укрепление государственности», и «подъем народного хозяйства»; если мы скажем это «даст» — а в этом мы глубоко убеждены, и мы не видим ни одного основания, которое говорило бы *против* этого, — то авторы «Вех», пожалуй, скажут нам, что мы берем на себя роль «пророков», в верности предсказаний которых еще никто не имел случая убедиться. Мы на это могли бы возразить, что мы не «пророчествуем», а только опираемся на аналогию с исторической жизнью других народов, — но ведь авторы «Вех» именно и ставят под вопрос историческую судьбу русского народа как раз с этой стороны. Они готовы ожидать

такой «аналогии» для кого угодно, даже для Турции, но сомневаются в ней по отношению к России. С другой стороны, если бы мы в доказательство нашего убеждения стали указывать на наличные результаты русской «революции», на те «ростки» новой жизни, которые теперь хилы и безобразны, но которые уже прорвали все мешавшие им преграды и уже неистребимы, то и это едва ли бы убедило авторов «Вех». Они сами ведь отлично видят эти «ростки», но они не умеют или не хотят в «ростках» усматривать будущую, новую, могучую жизнь, и здесь их, конечно, так же трудно привести к «сознанию», как и в вопросе об «аналогии» с Западной Европой. Поэтому в настоящем споре с авторами «Вех» мы, вообще, оставим в стороне «будущее»; предположим, что оно для нас, как и для них, совершенно закрыто. Предоставим этому «будущему» самому произнести свой окончательный приговор над русским освободительным движением с указанной стороны. Обратимся всецело к «настоящему», и притом не к «росткам», а к самой почве, на которой произрастают все эти «ростки».

VIII

Неужели самая «почва» русской народной жизни не изменена, не взрыхлена великим русским освободительным движением? Неужели сам «народ», со всем его духовным содержанием, со всей его «психологией», остался прежним, несмотря на все пережитые события? Неужели «ураган» или «землетрясение» революции не прошли через народную душу или, прошедши, оставили ее в прежнем состоянии?

Авторы «Вех» не ставят себе этих вопросов, да это и понятно: ведь для них все движение было «интеллигентским», а не «народным» — значит, что же могло измениться в «народе» от «манипуляций» над ним интеллигенции? Выставленное ими без всякой критики и совершенно ложное по существу утверждение, будто русское освободительное движение было «интеллигентским», закрыло для них эту самую важную сторону дела, т. е. влияние великих исторических переживаний *на народную душу, на народную психику*. И странная ирония судьбы: вопрос о народной психике и о происшедших в ней переменах остался закрытым для тех, кто взялся нам проповедовать, что центр тяжести исторической жизни народов лежит не во *внешних учреждениях, а во внутреннем состоянии личностей*. Авторы «Вех» на этом основании принялись рыться в душе интелли-

генции и нашли в ней только одну «скверну», а душу-то народа так и проглядели!

Впрочем, если это и ирония судьбы, то, во всяком случае, не случайная. Ведь это прямо вытекает из чисто «интеллигентской» гордыни тех, кто взял на себя задачу внушать интеллигенции «смирение». Авторы «Вех» думают, что в истории народа интеллигенция — все, а сам народ — в сущности, ничего. Если они прямо этого и не говорят, то это *implicite*⁸ содержится в том факте, что они весь свой «урок», от которого, если он будет усвоен, они ожидают «спасения» России, преподают только *одной* интеллигенции. Народ для них не более как косная масса, которая «влагается» в события своими «страданиями», своими «инстинктами», своими «аппетитами» и «ненавистями», но отнюдь не своим «интеллектом», не своим «разумом». В сущности, здесь перед нами та же теория об «ограниченном уме» подданных, только с «верховенством» в пользу интеллигенции. И хотя Булгаков в одном месте своей статьи и говорит, что народ наш, при всей своей неграмотности, просвещеннее своей интеллигенции*, но это, конечно, не более как декорация. «Двигателем» истории он считает все-таки интеллигенцию и потому вполне искренно боится, что если интеллигенция не усвоит себе уроков, преподанных ей авторами «Вех», то она «в союзе с татарщиной *погубит Россию*»**.

Итак, авторы «Вех» упустили из виду не более и не менее, как главного «деятеля» истории — *народ*. Слона-то они и не заметили. Во всей современной нам исторической проблеме они не видят никого, кроме интеллигенции. «Народа» для них при обсуждении современного положения вещей совсем не существует, а если он и существует, то скорее с оттенком отрицательной величины, в качестве «черни», которую то «казачество», то «интеллигенция» так легко науськивают на «анархическое разворовывание» государства.

Мы во всем этом стоим на прямо противоположной точке зрения. Народ «есть» в России, и он не лежит простым балластом в государственном корабле так же, как он ни под чьим предводительством не «разворовывал» и не «разворовывает» государства. Наоборот, *он-то* и есть главный строитель и глав-

* Вехи. С. 63.

** Там же. С. 26. «Душа интеллигенции, — говорит Булгаков, — есть ключ к грядущим судьбам русской государственности и общенности... Судьбы Петровой России находятся в руках интеллигенции» (Там же. С. 25).

ный деятель русской государственности. Это он создал и поддерживает на своих плечах тысячелетнее Русское государство, и это он своим великим освободительным движением взялся за спасение русской государственности от тех опасностей, в которые вовлек ее чрезмерно зажившийся у нас абсолютизм. И мы думаем, что в союзе с русской интеллигенцией он действительно совершил эту задачу, он «повалил» русский абсолютизм. 17 октября 1905 года это произошло «юридически», но, «слава Богу», не за горами уже и то время, когда он и «фактически» будет упразднен из русской жизни. И ручательством за это служит не что иное, как то, что абсолютизм теперь сознательно «отвергается» в России не одной интеллигенцией (как это было до 1904—1905 годов), но и всем народом. Борьба с абсолютизмом перешла с плеч интеллигенции на плечи народа.

Великое значение русского освободительного движения в том именно и заключается, что русский народ пережил в нем коренной *перелом* своего политического мирозерцания. До него он был *за абсолютизм*, после него — он стал *против абсолютизма*. Это уже не гадание или предположение, а это *факт*, *факт настоящего*, а не будущего, факт, которого можно не видеть лишь в припадке ослепления или того «умничанья», каким, несомненно, грешат авторы «Вех». Они этот факт проглядели, они его не замечают, а между тем это и есть именно то, чем «определится» вся наша дальнейшая история. И, в противоположность авторам «Вех», мы здесь скажем: не то, как духовно изменится интеллигенция, определит собою участь народа, а то, что уже духовно изменился народ, — это обуславливает собою перелом во всем духовном облике и во всем духовном содержании интеллигенции. *In majore minus!* Наша интеллигенция теперь несомненно переживает крупный перелом в этом отношении, но такой перелом, к которому вовсе не надо «призывать», а надо только правильно его «осмысливать», ибо он совершается неудержимо, под влиянием огромной духовной перемены, происшедшей с самим народом. Интеллигенция есть «ум» и «цвет» народа, но корни и родники и этого «ума», и этого «цвета» лежат в народе. Интеллигенция есть только *надстройка* над народом. И эта «надстройка» не может не измениться коренным образом, раз само основание существенно изменилось. Наоборот, пока основание оставалось прежним, невозможно было добиваться и другого вида для надстройки.

Теперь мы видим, что вопрос о русской интеллигенции, о совершающемся в ней духовном переломе и о направлении этого перелома действительно необходимо и исторически и логи-

чески связывать с русским освободительным движением, но только совсем не так, как это сделали авторы «Вех». Они, как мы видели, говорят: в России произошло освободительное движение. Оно потерпело неудачу. Это произошло потому, что оно было интеллигентским, ибо русская интеллигенция всегда была полна внутреннего духовного бессилия и нравственной скверны. Поэтому и впредь невозможно надеяться на что-либо лучшее, по крайней мере до тех пор, пока «виновный» не «покается». Отсюда главное содержание «Вех» — «бичевание» виновного с возгласами о том, чтобы он «исправился».

Наша схема «понимания» событий совсем другая, хотя она также начинается с русского освободительного движения.

Произошло великое русское освободительное движение. Оно потому и сохранит за собой это название, что оно было *народным* или, правильнее, даже *всенародным*. Народ показал этим движением, что он не был рабом абсолютизма, а только крепко положившимся на него доверителем. Он искренно верил в его необходимость и благодетельность для России и потому ему повиновался, несмотря на все протесты интеллигенции и на давние ее призывы к свержению этого абсолютизма. Но как только он убедился в обратном, он сам двинулся навстречу вставшей перед ним исторической задаче и дружным, самоотверженным, полным одушевления напором устранил этот абсолютизм в славные октябрьские дни. И все это великое историческое переживание, эта огромная работа «ума» народа, происходившая в течение освободительного времени, это огромное напряжение «воли» народа в самоотверженной борьбе с отжившей формой жизни, борьбе, объединившей собой все живое в России, борьбе, в которой народ шел рука об руку с интеллигенцией, — все это до основания изменило народную душу. Народ теперь иначе понимает и свое историческое положение, и свои исторические задачи. Вместе с тем коренным образом изменилось и все его «самочувствие». Народ из «подданного» превратился в «гражданина». Нация духовно переродилась или, вернее: только теперь духовно родилась. Народ ярко осознал и свой долг перед родиной, и свою ответственность за ее судьбы. Словом, с народом произошла колоссальная *духовная* перемена, т. е. перемена неистребимая и бесповоротная, та, которую «ни червь не точит, ни ржа не ест».

Вот то, что на самом деле произошло, и *произошло* с целым народом, а не с одной интеллигенцией. От чего же тут приходится в отчаяние? И не прямое ли это политическое кощунство говорить, что русское освободительное движение «поставило

под вопрос самую жизнеспособность русской гражданственности и государственности»? Не совершенно ли наоборот? Не есть ли оно лучшее и вполне достаточное доказательство того, что русский народ именно жизнеспособен? Не доказал ли он своим освободительным движением, что он хотя и отставал от прогрессивных западноевропейских народов, но что он все же одной с ними природы, так же свободолюбив и так же активен, как и они?

Мы не только не видим оснований смотреть на наше будущее с «унынием» или с «жгучей тревогой», но думаем как раз наоборот, что только теперь, после освободительного движения, можно, наконец, вздохнуть свободно. «Унывать», смотреть с «жгучей тревогой» на будущее действительно можно было в 80-х, 90-х годах; да и то наши предшественники не унывали и смотрели с полной верой в лицо будущему России. Почему же приходится в отчаяние нам — нам, которые имели неотнимаемое теперь уже у нас счастье видеть действительное народное рождение свободы в России, видеть духовное пробуждение к свободе великого народа, которого до того ничем невозможно было разбудить от политической спячки? Не должны ли мы, наоборот, испытывать теперь то настроение, которое так хорошо вылилось некогда в словах: «ныне отпускаеши раба Твоего...»?⁹

Политически родилась нация, духовно пробудился к своим государственным задачам целый народ — чего же нам еще нужно? Не все происходило так, как мы «ожидали»? А разве не произошло многое, чего мы и не ожидали? Разве это полное, глубокое перерождение народа в политическом отношении — перерождение, при котором проповедь сохранения абсолютизма принимает вид злой и безобразной карикатуры в лице таких ее представителей, как Пуришкевич или Дубровин, — разве оно так уже и не содержит в себе никакого плюса сверх того, что в этом отношении можно было ожидать? Да простят нам авторы «Вех», но мы всю их «психологию», все их теперешнее политическое «настроение» считаем глубоко «интеллигентским» в том самом укоризненном смысле, какой они сами придают этому слову. Они упрекают русскую интеллигенцию в «исторической нетерпеливости», в «практическом отрицании теоретически исповедуемого эволюционизма», в «стремлении вызвать социальное чудо»*. Но ведь их теперешняя политическая позиция — это и есть позиция «исторического нетерпе-

* Вехи. С. 55.

ния», «практического отрицания эволюционизма», наконец, политического малодушия по поводу того, что не произошло «социального чуда». События предстали так, как обыкновенно и предстают события этого рода: со всем их широким размахом, во всем их грозном величии. И авторы «Вех» не вынесли этого зрелища: они жалуются на него, они ропщут, они унывают. Несмотря на то, что наша революция далеко не отличалась такими эксцессами, как, напр<имер>, Великая французская революция; несмотря на то, что к ней даже название «революция» как-то плохо прививается и она гораздо вернее обозначается этими прекрасными словами — «освободительное движение», авторы «Вех» просто ею перепугались и не видят в ней ничего, кроме «бессмысленного» народа, «воровской» интеллигенции и сплошного «разрушения». У них или плохие нервы, или затаенная досада на то, что не они сыграли роль «провидения» в этом великом историческом переломе, происшедшем с Россией. Надо сказать, что вообще у нас теперь есть целая категория лиц, которые не «вынесли» освободительного движения и потеряли на нем свое душевное равновесие вместе со своими прежними убеждениями и взглядами; с этими лицами ужасно трудно обсуждать неизмеримо великое значение освободительного движения для страны и для народа, ибо они «ушиблены» событиями, и ушиблены притом в очень чувствительное место. К числу этих людей, несомненно, принадлежат и авторы «Вех» с их едва ли вполне нормальными утверждениями вроде того, что наш народ «не может помянуть добром петровской реформы»; или что интеллигенция стала наследницей казачества в «противогосударственном воровстве»; или, наконец, что интеллигенция должна теперь «бояться» народа «пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной».

Будем надеяться, что авторы «Вех» со временем «отойдут» от того «ушиба», который причинило им русское освободительное движение. В настоящее же время вся их «психология», несомненно, находится под влиянием последнего. И если их книгу характеризовать с точки зрения этой внутренней ее «психологии», то придется о ней сказать следующее: эта книга не критическая и даже не интеллектуальная, это книга, переполненная эмоциональным возбуждением. В ней «настроение» предшествовало работе ума и всецело ее собою определило. Конечно, в ней есть также и эта работа ума, и даже ее немало. Ав-

торы «Вех» — люди и талантливые, и вдумчивые. Но — увы! — они на этот раз работали под влиянием того стихийного испуга, который охватил общественную среду после «физического» поражения революции. И они всю работу своего ума направили на то, чтобы доказать обществу, что это поражение было не только «физическим», но и «моральным». Ум у них был не *господином* самого себя, не самостоятельным творцом идей и понимания, а рабом и приспешником настроения. Это не был тот «высший» ум, который остается спокойным даже среди буруна событий и упорно продолжает свою собственную работу, это был тот «низший» ум, который отдает себя в услугу настроению и чувствам. Не он перерабатывает «настроение», давая ему прочную идейную основу, а, наоборот, «настроение» держит его внутри себя и заставляет развивать уже содержащиеся в нем самом идеи, воздействуя этим обратно на настроение и доводя его до степени настоящей аффектации. По выражению одного из авторов «Вех» (П. Б. Струве), сделанному им в одном публичном собрании при обсуждении содержания этого сборника, «Вехи» представляют собой «крик» или «вопл», вырвавшийся под влиянием созерцания хода и исхода русского освободительного движения. Да, это именно и есть характеристика книги; эта книга и есть действительно «крик» или «вопл», но вопль малодушия и испуга, вырвавшийся из глубины настроения раньше, чем совершилась настоящая критическая работа ума — та работа, которая исключает вопли и истерику и которая ставит на их место спокойную и мужественную деятельность спокойных и мужественных людей.

«Вехи» — книга малодушных и испуганных: малодушных — до забвения всякой справедливости, испуганных — до полной умственной паники. Это — зрелище людей, всецело отдавшихся аффекту и вообразивших, что надо непременно вопить и кричать, чтобы тем же аффектом заражать и всех окружающих. Отсюда этот постоянный refrain¹⁰ каждой статьи сборника: «Покайтесь — иначе погибнете!».

IX

Мне остается сделать последние выводы.

Совершается ли теперь с русской интеллигенцией важный духовный «перелом», переживает ли она серьезный духовный «кризис»?

Да, несомненно, этот «кризис» существует и этот «перелом» совершается, но он, в свою очередь, всецело обусловлен тем великим духовным «переломом», который только что пережит всем русским народом в событиях освободительного движения. Русский народ сам только что претерпел великую историческую перемену в своем политическом миросозерцании — и это столь существенно изменяет все положение интеллигенции в России, что она не может не передвинуться от «старого» к «новому», от «прошлого» к «будущему».

Ее «прошлое» — почетно и славно, ибо все оно было преисполнено самоотверженной любви к народу и мужественной борьбы за его благо и за его права. Но вместе с тем оно было и тяжело. Тяжко потому, что все бремя исторического положения было взвалено на плечи одной интеллигенции. Интеллигенция несла на себе это бремя, несла в одиночку, отрезанная от народной массы как физически полицейским кордоном, так и духовно — непониманием народными массами настоятельной необходимости борьбы с абсолютизмом. Интеллигенция никогда не жаловалась на тяжесть своего положения среди безмолвного народа и перед лицом беспощадного к ней врага, но ее нравственный и умственный облик был, конечно, искажен, искажен тем напряжением, которого требовало несение на своих плечах такой непомерной исторической ноши. Подобно тому, как все мышцы того, кто несет на себе непосильную физическую тяжесть, бывают сжаты чуть не до судороги односторонним мускульным напряжением, так и все душевные фибры того, кто обременен непосильной нравственной ношей, бывают так же напряжены до судороги в моральном смысле. И пока человек несет на себе такую тяготу, невозможно его всерьез призывать к нормальной и разносторонней жизни с ее радостями и красотой. Не думайте, что он глух к ней по своей природе, — нет, но он отрезан от нее своим неблагоприятным положением.

Да, «прошлое» русской интеллигенции — почетно и славно, но оно было крайне тягостно прежде всего для нее самой. Теперь этому «прошлому» пришел конец. Тяжесть исторического положения передвинулась на более широкие плечи, а вместе с тем уничтожена и та изолированность, в которой интеллигенция находилась по отношению к народу. Народ теперь понял и оценил стремления интеллигенции, он их теперь не только не отвергает, но, наоборот, он их себе усвоил и готов бороться за них вместе с интеллигенцией. Интеллигенция, таким образом, получает возможность всем своим духовным существом выйти

из той клетки, в которую замыкало ее прежнее историческое положение*.

И она, конечно, выйдет из этой клетки. Она сольется с народом в своих политических и социальных стремлениях, она отбросит здесь всю свою прежнюю конспирацию от общественной среды как совершенно ненужную и крайне тягостную. Но она вместе с тем выйдет на вольный простор и вообще в своей духовной жизни. Она станет без помех заниматься своим вековым и постоянным делом — производством тех духовных ценностей — истины, красоты, нравственного достоинства, религиозного вдохновения, — которые одни способны сделать человеческую жизнь самоцельной и самоценной. Смешно думать, что русская интеллигенция не имеет собственного внутреннего порыва в эту сторону, что ее надо вгонять в этот «рай» дубиной или проповедями авторов «Вех». Нет, русская интеллигенция всегда рвалась в эту сторону, но только не находила себе для этого надлежащего простора и надлежащей свободы от других тяготевших над нею забот. И в этом отношении нет разницы между Чаадаевым и Белинским или Владимиром Соловьевым и Михайловским. Все они не развернули во всю ширь своих внутренних потенций в сторону великих ценностей человеческой жизни под влиянием одних и тех же причин. В этом отношении только один Лев Толстой, может быть, составляет счастливое исключение, да и то потому, что ареной и аудиторией для проявления творчества этого колосса оказался весь мир. Россия не смогла стеснить того, кто был создан для целого мира.

Да, мы, русские интеллигенты, стоим на рубеже, на «переломе», на границе. Однако за этим рубежом мы не порвем с «народом», а только теснее с ним сольемся. Традиция «служения» народу, соединяя прошлое с будущим непрерывной нитью, протянется через этот рубеж, но самое служение будет поставлено в новые, более выгодные условия. Перед нами впереди светлое будущее общей с народом политической и социальной работы и производство среди него и для него самоценных, сверхиндивидуальных ценностей. Это будущее открыто для нас русским освободительным движением, совершенным народом совместно с интеллигенцией... И, стоя на этом рубеже, перед этой новой жизнью, что же мы скажем о наших предшественниках, о тех, кто не дожил до вступления в землю обето-

* Более подробно я писал обо всем этом в указанной выше статье «Общество, реакция и народ», помещенной во 2-м выпуске сборника «Зарницы».

ванную, кто погиб во время многолетнего странствования по предшествующей ей «пустыне»? Неужели наших духовных «отцов» и «дедов» помянем так, как это сделали авторы «Вех»? Скажем, что их «интеллигентская» вера и их «интеллигентская» борьба не дала нам в настоящем решительно ничего, кроме «грабителей, корыстных убийц, хулиганов и разнузданных любителей полового разврата», и что это они довели нас до того, что мы теперь имеем тот самый режим, какого только и «заслуживаем»? Скажем, что это они во всем «виноваты»?

Позволим себе и здесь, по всей справедливости, вернуть авторам «Вех» упрек, который они делают «интеллигенции». Это упрек за «презрение к отцам», за «отвращение к своему прошлому и его полное осуждение», за «историческую и нередко даже личную неблагодарность», за «разрыв исторической связи в чувстве и воле»*. Их книга — это и есть такой неблагодарный разрыв исторической связи со своим прошлым и презрение к отцам, несмотря на то, что те «душу свою полагали за други своя».

Нет, стоя теперь на рубеже, на «переломе», мы поступим иначе: мы благословим память наших «отцов» и пожалеем о том, что многие из них не дожили до великого часа народного освобождения, того часа, для которого они работали всю свою жизнь и в жертву которому они приносили все, вплоть до своей жизни...



* Вехи, статья Булгакова. С. 55.